

ГИПШИУС А. А.

СИСТЕМА ФОРМАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ЯЗЫКА ДРЕВНЕРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ КАК ПРЕДМЕТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

Характерной приметой современного состояния исследований по истории русского литературного языка является отсутствие прочных связей между накопленным богатым опытом описания языка отдельных письменных памятников и обсуждением общих вопросов, связанных с функционированием литературного языка Древней Руси и характером древнерусской языковой ситуации. Такое положение дел, по крайней мере отчасти, обусловливается несоответствием традиционных методов исследования конкретных текстов тем требованиям, которые предъявляет к ним специфика истории литературного языка как особой научной дисциплины.

Описание древнерусской языковой ситуации предполагает прежде всего реконструкцию системы языковых представлений древнерусского общества, воплощенной во всей совокупности созданных им письменных памятников. Системный характер лингвистического изучения древнерусских письменных источников выступает, следовательно, как обязательное условие их адекватной интерпретации в плане истории литературного языка. Конкретный языковой факт, будь то целый текст или отдельная словоформа, с необходимостью должен быть рассмотрен в его отношениях с другими однородными фактами. Любая форма, встретившаяся в том или ином письменном памятнике, только тогда может занять свое место в общей картине, когда известно: 1) насколько последовательно употребляется в данном тексте эта форма, 2) как соотносится ее употребление с употреблением в том же тексте других форм и 3) как употребляется данная форма в других текстах. В противном случае исследователь, имея дело лишь с разрозненными фактами, лишен возможности отличить общее от особенного, случайное от нормативного, стилистически значимое от нейтрального и т. д.¹ Решение общих вопросов истории литературного языка Древней Руси, свободное от элементов субъективности и схематизма, возможно лишь при опоре на широкий опыт разнообразных сопоставительных исследований, потребность в которых в настоящее время ощущается весьма остро.

¹ Приведем лишь один пример такого рода. В работе, специально посвященной языковым особенностям Изборника 1073 г. [1], в качестве отличительной черты Изборника называется флексия *-ть* 3 л. презенса. Между тем данная восточнославянская флексия, последовательно употребляемая во всех древнейших русских рукописях, является отличительной чертой всей восточнославянской письменности в целом. Что же касается Изборника 1073 г., то написание в нем форм 3 л. презенса действительно характеризуется исключительным своеобразием. Оно заключается, однако, не в употреблении форм с *-ть*, но в крайне широком использовании форм с нулевой флексией. См., например: *кѡ же хощѣ милоуѣжего же хощѣ ожесточи и ни зотѣ штоуоумоу ни текоуштоу нѣ милоуѣщоуоумоу боу мнози бо глаголю како же хощѣ бѣ спасаѣ или погуби* (лл. 164об, 165).

Недостаток системности ощутило сказывается в изучении языка канонической церковнославянской книжности. К сожалению, значительная часть имеющихся лингвистических описаний древнерусских рукописей строится вообще безотносительно к понятию нормы. Даже в работах, специально затрагивающих проблемы формирования русского извода церковнославянского языка, фонетические и морфологические элементы восточнославянского происхождения нередко рассматриваются недифференцированно, без учета того, имеем ли мы дело с последовательным или же окказиональным употреблением². Противоположную крайность представляет точка зрения, признающая в качестве черт русского извода лишь весьма ограниченный набор почти исключительно фонетических русизмов, последовательно употребляемых в древнерусских рукописях начиная с древнейших и с течением времени полностью вытеснивших свои южнославянские корреляты (правописание юсов, рефлексов **dj*, **zdj*, **zgj*, **stj*, **skj*, сочетаний редуцированных с плавными). Из области морфологии сюда относят обычно лишь флексии -*тъ* 3 л. презенса и -*ьмь*, -*ьмь* Т. ед. о- и *jo*-основ. Русизмы, не входящие в этот узкий круг, рассматриваются при этом как ошибки, случайно «сорвавшиеся с пера» [3]. Создается впечатление, что канонические тексты, переведенные у южных славян, «были практически непроницаемы для восточнославянских элементов (за исключением минимальной фонетической адаптации вроде *жд* → *ж* и *тъ* → *ть*)» [4, с. 244].

Охарактеризованный выше подход явно не отражает реального положения вещей. Характер употребления в целом ряде рукописей XI—XII вв. таких морфологических русизмов, как формы на -*ѣ* Р. ед., И.-В. мн. *ja*-основ и В. мн. *jo*-основ (см., например, Изборник 1076 г., сентябрьская Миней 1095 г.), флексия -*а* И. ед. муж. причастий типа *неса*, *ида* (Миней 1095—1097 гг., Выголексинский сборник XII в., Ефремовская кормчая XI/XII в.), формы Д.-М. местоимений *тобѣ*, *собѣ* (Архангельское евангелие 1092 г., особенно Галицкое евангелие 1144 г.), не позволяет рассматривать их как ошибки писцов³. Фактически из основных морфологических русизмов только формы адъективного склонения на -*ѣ* (в соответствии с южн.-слав.-А) были полностью отвергнуты церковнославянской языковой нормой.

Что касается лексических корреляций, то и здесь наблюдается значительное разнообразие. Н. Н. Дурново приводит примеры последовательного употребления в рукописях XI—XII вв. полногласной лексики, лексика с начальным о- (в соответствии с южнославянским к-), начальным *роз-* и других русизмов [5, с. 78]. Число таких примеров легко может быть умножено⁴. Значит ли это, однако, что все названные формы могут быть в равной степени охарактеризованы как признаки русского извода церковнославянского? Безусловно, нет.

² См., например, перечисление в одном ряду столь разнородных в функциональном отношении русизмов, как «замена юсов буквами *оу*, *ю*, *а*, *я*, написания -*ьр-*, -*ьръ-* вместо -*ръ-*, полногласия, *роз-* вместо *раз-*, начальное о- вместо к-, *ж* на месте *жд* и *ч* на месте *щ* и т. д.» [2].

³ Характерно, что соответствующие южнославянские формы могут, хотя и редко, исправляться на восточнославянские. Так, писец Миней 1095 г., явно руководствуясь стилистическими соображениями, исправляет форму *ѣвицѣ* на *ѣвицѣ* в сочетании *ѣ ѣвицѣ бѣоотроковицѣ* (ЦГАДА, ф. 381, № 84, л. 136).

⁴ Как и на морфологическом уровне, в сфере лексических корреляций также возможны исправления южнославянских форм на восточнославянские. Яркий пример такого рода находим в Захарыинском паремейнике 1271 г., где во фразе *проклѣтъ ханаанъ рабъ хланъ боудеть братома своима* форма *хланъ* исправлена на *холопъ* (ГПБ, Q. п. I. 13, л. 103).

Описание нормы церковнославянского языка русского извода требует более гибкого подхода, который бы учитывал как множественность индивидуальных представлений писцов о правильности книжного языка, так и различия в факторах, обуславливавших на разных языковых уровнях процесс формирования региональных норм церковнославянского.

На орфоэпическом уровне образование русского извода было обусловлено прежде всего чисто артикуляционной чуждостью ряда южнославянских звуков и звуко сочетаний, которые в древнерусском книжном произношении по необходимости должны были уступить место их восточнославянским соответствиям. Хотя на уровне орфографии этот процесс в каждом конкретном случае отражался по-разному (каждый признак, по которому происходила адаптация, обладает, как отмечает В. М. Живов, своим характером изменения [6, с. 63]), в целом он носил вполне объективный характер, вследствие чего круг признаков, по которым к XIII—XIV вв. произошла полная фонетико-орфографическая адаптация церковнославянского языка на русской почве, может быть определен достаточно однозначно [7, с. 84—129]. В перспективе этой полной адаптации орфографическая вариативность, свойственная древнейшим восточнославянским памятникам, может быть объяснена в значительной своей части как проявление незавершенности процесса выработки нормы национального извода [6, с. 49—51].

Фонетико-орфографическая адаптация явилась прецедентом для введения в церковнославянскую языковую норму элементов других уровней живой восточнославянской речи. Этот процесс, однако, уже не был (по крайней мере на уровне морфологии) обусловлен объективной необходимостью, что не могло не сказаться на характере его результатов. Вариативность на морфологическом уровне носит качественно иной характер, чем орфографическая вариативность. Если варианты орфограммы, по видимому, читались одинаково, то варианты морфологические формы, скорее всего, читались по-разному. Так, например, написания *даждь* и *дажь* древнерусский церковный чтец или певчий XI в. мог произнести лишь как [даж'ь], поскольку сочетание [јѣд'] в эпоху до падения редуцированных отсутствовало в фонетической системе восточнославянских диалектов. Между тем формы причастий *иды* и *ида* были в равной степени удобопроизносимы, и за различием в написании здесь стояло, очевидно, различие в чтении. Таким образом, единство книжного произношения, выступающее в данный период как мощное стабилизирующее начало (см. [7, с. 77—79]), на морфологическом уровне отсутствовало. Вследствие этого к XIII—XIV вв., когда орфографическая норма оказывается уже унифицированной по ряду важнейших признаков, морфологическая вариативность, обладающая большей самостоятельностью, не только не ослабевает, но, напротив, усиливается за счет появления новых значимых оппозиций в результате собственно восточнославянского языкового развития. Вариативность морфологических форм является, следовательно, не преходящим этапом в истории образования нормы русского извода, но принципиальным свойством самой этой нормы. То же можно сказать и относительно ряда лексических корреляций типа перечисленных выше.

Вариативность церковнославянской морфологической нормы может, однако, пониматься по-разному. Во-первых, речь может идти о характере употребления коррелирующих форм в пределах одного и того же текста. Формы и флексии восточнославянского происхождения в отличие от фонетических русизмов, как правило, не вытесняют полностью своих южнославянских коррелятов, но выступают наряду с ними как факультативные

варианты нормы. (Исключение, подтверждающее правило, составляют флексии *-ть* в 3 л. презенса и *-ъмь*, *-ьмь* в Т.ед. о-основ, полное и раннее усвоение которых нормой русского извода обуславливалось, как отмечал еще Н. Н. Дурново, причинами чисто орфографического свойства [5, с. 80].)

В то же время, говоря о вариативности морфологической нормы, можно иметь в виду и несовпадение индивидуальных картин формоупотребления, наблюдаемых в разных церковнославянских текстах. Важно отметить, что это субъективное разнообразие нет оснований рассматривать как следствие отступлений от общепринятой нормы. Применительно к ситуации, характеризовавшейся отсутствием нормативной грамматики книжного языка, единственным критерием нормативности той или иной формы является последовательность ее употребления в конкретных текстах. Церковнославянская языковая норма в таком случае может пониматься лишь как единство разнообразных индивидуальных языковых установок, совпадающих по одним параметрам и различающихся по другим. Форма, выступающая как факультативный вариант нормы или даже как ее основной представитель в одном тексте, может в другом последовательно избегаться как не книжная. Поэтому тезис о необходимости разграничения «признаков церковнославянского языка, входящих в норму этого языка, и признаков живого русского языка, находящихся вне этой нормы» [7, с. 73], совершенно справедливый по отношению к каждому отдельно взятому тексту, не может быть применен для общей классификации русизмов, разделения их на «нормативные» и «ненормативные». Поступая таким образом, исследователь рискует взять на себя роль кодификатора норм древней письменности.

Необходимо, следовательно, различать два аспекта вариативности церковнославянской языковой нормы, понимаемой, с одной стороны, как сосуществование индивидуальных языковых установок (индивидуальных норм), по-разному интерпретирующих одни и те же языковые факты, а с другой — как допущение индивидуальной нормой двух или более изофункциональных средств. Заметим, что разграничение этих двух аспектов вариативности до некоторой степени соответствует предлагаемому А. Едличкой [8] разграничению **вариантных норм и вариантных средств** в современных литературных языках.

Недостаточная изученность норм языка канонических памятников не позволяет правильно оценить и языковой статус оригинальных древнерусских книжных текстов. Положение усугубляется тем, что традиционная церковнославянская книжность XIII—XIV вв., т. е. того периода, к которому относится большинство древнейших списков оригинальных памятников, остается до сих пор практически совсем не исследованной в языковом отношении. Таким образом, полностью выпадает из поля зрения истории литературного языка тот фон, на котором разворачивалось оригинальное языковое творчество древнерусских авторов и на котором только оно и может быть должным образом интерпретировано. Опыты определения «языкового ключа» так называемых «смешанных» текстов путем «статистического учета дифференциальных признаков восточнославянского и церковнославянского происхождения из области фонетики, морфологии, лексики и синтаксиса» [9] представляются слишком механистичными, так как основаны на изолированном изучении «смешанного» текста, отрыве его от того контекста современной книжной традиции, органической частью которого он являлся. Между тем обращение к этому контексту обнаруживает, что большая часть генетически русских черт,

входящих в применяемую сетку дифференциальных признаков, является в той или иной степени принадлежностью языковой нормы канонической книжности (см. выше) и что, следовательно, соответствующие признаки не могут использоваться для разграничения церковнославянской и русской языковых установок.

Исследование фонетики и морфологии древнерусских письменных памятников в аспекте истории литературного языка не должно замыкаться в узких пределах традиционного списка «русизмов» и «славянизмов», но требует привлечения более разнообразного языкового материала. В этом отношении особый интерес представляет вопрос о статусе «делового языка» Древней Руси. В перспективе соотношения церковнославянского и русского компонентов деловые и светские юридические тексты естественно рассматривать как написанные на «чистом русском языке» с незначительной церковнославянской «примесью» [10]. Наличие в грамотах и Русской правде церковнославянских по происхождению элементов формуляра вполне может быть объяснено как проявление нормализации на уровне текста и в принципе не мешает считать этот круг памятников чуждым собственно языковой нормированности [7, с. 71]. Между тем есть основания утверждать, что деловой язык Древней Руси все же был объектом нормализации, которая проявляется, однако, в другой плоскости, а именно — в соотношении в нем общерусских и диалектных элементов.

Тезис о наддиалектном характере древнерусского делового языка высказывался неоднократно, однако до недавнего времени реальная степень этой наддиалектности оставалась неясной. Положение радикальным образом изменилось благодаря результатам осуществленного А. А. Зализняком нового лингвистического исследования новгородских берестяных грамот [11]. Как можно теперь с уверенностью утверждать, древнейшие пергаменные документы новгородского происхождения практически полностью скрывают целый пласт диалектной фонетики и морфологии, адекватное представление о котором позволяет получить лишь анализ бытовых берестяных грамот. Как и степень обособленности древненовгородского диалекта, степень наддиалектности языка официальной документации Древнего Новгорода оказалась существенно большей, чем ранее предполагалось. Там, где раньше усматривалась тождественность форм устной и письменной речи, сопоставление пергаменных и берестяных грамот обнаруживает последовательно соблюдаемую дистанцию и, соответственно, явные признаки нормированности языка. В рамках древненовгородской языковой ситуации этот нормированный письменный язык официальной документации определяется А. А. Зализняком как «стандартный древнерусский» [12].

Консервативность норм языка деловой письменности составляет, таким образом, его принципиальное свойство, а не специфическую особенность позднего, приказного этапа его развития. Едва ли следует видеть в этой консервативности и исключительную особенность новгородской языковой ситуации. Необходимо иметь в виду, что переход от форм живой речи к формам делового языка предполагал не только замену диалектных форм на общерусские, но также и замену ряда инноваций на традиционные формы. Уже в новгородских пергаменных грамотах XIII в. число подлежащих замене инноваций оказывается сопоставимым с количеством заменяемых диалектизмов. В этих текстах практически полностью отсутствуют не только такие морфологические новгородизмы, как флексия *-e* И. ед. муж., *-ѣ* Р. ед., И.-В. мн. твердых *a*-основ, формы местоимения *весь* с основой

вза-, формы без рефлекса второй палатализации и др. (см. их полный перечень в работе А. А. Зализняка [12, с. 130, 131]), но также такие общерусские морфологические новшества, как формы инфинитива, императива и 2 л. презенса без конечного -и, флексия -и Р. ед. ja-основ, формы Д. мн. o-основ на -амъ и ряд других черт, в этот период уже несомненно свойственных живой новгородской речи. Устранение диалектизмов и частичная консервация архаичных форм выступают, таким образом, как два равноправных механизма нормирования древнерусского языка в его официальном употреблении. Понимаемая как дистанция между формами живой речи и письменного языка, норма делового языка Древней Руси (как и церковнославянская норма) существует как бы в двух измерениях — пространственном и временном. Специфика языковой ситуации Древнего Новгорода состояла, по-видимому, в том, что в первом из этих двух измерений норма проявилась здесь раньше и с большей интенсивностью, чем в других областях Древней Руси. Это не мешает, однако, рассматривать такое состояние как экстремальный вариант древнерусской языковой ситуации, в котором все общие структурные особенности последней проявляются в наиболее заостренной форме.

Все охарактеризованные выше вопросы лингвистической интерпретации древнерусских письменных источников в аспекте истории литературного языка связаны друг с другом как грани единой проблематики. Только на пути их комплексного рассмотрения может быть преодолена фрагментарность существующих представлений о языковой ситуации Древней Руси и составлена база систематически организованных данных, необходимая для ее объективного описания. Одним из объектов этого синтетического направления исследований должна стать, как представляется, система формальных признаков (СФП) языка древнерусской письменности, понимаемая как система соответствий между формами, характеризовавшими живую восточнославянскую речь, и формами, употреблявшимися в разных типах древнерусских письменных текстов.

Изучение СФП древнерусской письменности может рассматриваться как синтез двух традиционных форм лингвистического изучения древнерусских письменных памятников — описания языка одного текста по ряду языковых показателей и описания функционирования одного звена языковой системы в текстах разных типов. В то же время исследование СФП не может носить чисто описательный характер: оно предполагает прежде всего реконструкцию отношений между формами устной и разных видов письменной речи, реконструкцию механизмов перехода от одних форм к другим как важнейшего компонента языкового сознания. При этом сама система форм живой речи является также объектом реконструкции, достоверность которой во многом зависит от адекватной оценки степени и характера лингвистической информативности различных письменных источников. Изучение СФП, следовательно, выступает в ряде случаев как задача с двумя взаимообусловленными неизвестными, решение которой представляет равный интерес для истории литературного языка и исторической диалектологии.

Настоящая статья носит предварительный характер. Ниже обсуждаются некоторые общие принципы функционирования и описания СФП древнерусской письменности, иллюстрируемые преимущественно на морфологическом материале древненовгородских памятников.

На морфологическом уровне СФП древнерусской письменности складывается из отдельных рядов форм, способных в текстах одной региональной и хронологической принадлежности заполнять одно и то же звено грамматической системы. В большинстве случаев приходится иметь дело с бинарными оппозициями форм, которые в плане сравнительно-исторической грамматики могут соотноситься по-разному: как восточнославянские и южнославянские, диалектные восточнославянские и общерусские, «новые» и «старые». В результате наложения на уже существующую корреляцию результатов одного или нескольких морфологических процессов образуются ряды, состоящие из трех и более членов. См., например, такие многочисленные оппозиции, как *земли / земля / земля* в Р. ед., И.-В. мн., *новово / нового / новаго / новааго* в Р. ед. муж.- ср., *есма / есме / есмы / есмъ* в 1 л. мн., *жива / жива / живы* в И. ед. муж. и др. Существование, однако, что такого рода многочисленные ряды почти всегда могут быть сведены к нескольким элементарным бинарным оппозициям, которые, следовательно, выступают как минимальные единицы СФП.

Генетическая разнородность бинарных оппозиций, составляющих СФП, порождает своеобразную терминологическую проблему. Остро ощущается отсутствие пары терминов, которая бы могла обозначить функциональное объединение в рамках СФП, с одной стороны, восточнославянских, диалектных и «новых» форм, а с другой — южнославянских, общерусских и «старых». Между тем именно это функциональное объединение составляет главную конструктивную особенность СФП и несомненно нуждается в обозначении. Определения «русское / церковнославянское», «некнижное / книжное», «разговорное / литературное» и т. д. не подходят на эту роль, как потому, что носят слишком частный характер, так и потому, что содержат в себе нежелательный элемент априорной оценки статуса соответствующих форм. Поэтому в дальнейшем, чтобы избежать громоздких формулировок, мы будем говорить об оппозициях «*л е в ы х*» (восточнославянских, диалектных, «новых») и «*п р а в ы х*» (южнославянских, общерусских, «старых») форм, или, иначе, об *L R - о п п о з и ц и я х*, имея в виду естественное графическое представление «шкалы книжности» в виде оси, направленной (по нарастающей) слева направо. Преимущество данной пары определений состоит, помимо их принципиальной нейтральности, также и в возможности их применения как к бинарным, так и к многочисленным оппозициям. Говоря о той или иной форме как о «левой» (L-форме) или «правой» (R-форме), мы не закрепляем за нею никакого определенного статуса, но лишь обозначаем таким образом ее ориентированность на «шкале книжности» относительно ее одного или нескольких коррелятов. Понятно, что в многочисленной оппозиции одна и та же форма может выступать как «левая» по отношению к одним формам и как «правая» по отношению к другим. Так, форма *нового* в ряду *новово / нового / новаго / новааго* является R-формой для формы *новово* и L-формой для форм *новаго* и *новааго*.

Чтобы иметь возможность сопоставлять на общем основании факты, почерпнутые из разных текстов, целесообразно выделить основные типы реализации бинарных LR-оппозиций, т. е. возможные типы соответствия между формами живой речи и письменного текста. При этом необходимо различать ситуации, когда в живой речи оппозиция представлена только одним своим членом (L-формой) и когда — обоими. В первом случае представляется возможным выделить три основных типа реализации:

1. $L \rightarrow L$

«Левая» форма является единственно возможной в письменном тексте, который в данном звене грамматической системы вообще не противопоставлен живой речи.

2. $L \rightarrow L/R$

В письменном тексте имеет место варьирование L- и R-форм, выступающих (в разных количественных соотношениях) как факультативные варианты нормы.

3. $L \rightarrow R$

Единственно нормативной в письменном тексте является R-форма. Формы живой речи попадают в текст лишь как случайные ошибки⁵.

Для ситуации варьирования в живой речи L- и R-форм (что имеет место при незавершенности определенных морфологических процессов) также могут быть выделены три типа реализации, во многом аналогичные указанным выше:

1а. $L/R \rightarrow L/R$

Варьирование форм в живой речи без изменения отражается в письменном тексте.

2а. $L/R \rightarrow (L)/R$

Варьирование форм в живой речи отражается в письменном тексте, но неадекватно: L-форма (чаще всего — новообразование) подвергается частичной замене на R-форму.

3а. $L/R \rightarrow R$

Из двух варьирующихся в живой речи форм в письменном тексте как нормативная употребляется только «правая»⁶.

В целом процесс порождения любого письменного текста может быть с известной долей условности представлен как система замен «левых» форм на «правые». При этом типы реализации 1 и 1а, не предполагающие осуществления каких-либо преобразований при переходе от форм живой речи к формам письменного текста, могут быть охарактеризованы как нулевые, типы 2, 2а — как факультативные и типы 3, 3а — как обязательные замены. (Аналогичное понятие нулевой флексии, понятие нулевой замены призвано отличить случаи, когда тождест-

⁵ Так, например, если при предполагаемом исключительном употреблении в живой новгородской речи конца XIII в. флексий Т. ед. и косвенных падежей мн. числа прилагательных *-ых*, *-ым*, *-ыми*, Р. ед. муж. -ср. *-ого* и Д. ед. муж.-ср. *-ому* в Симоновском евангелии 1270 г. мы находим исключительно употребление флексий *-ымъ*, *-ыхъ*, *-ыми* и *-аго* при свободном варьировании флексий *-ому* и *-уму*, можно говорить о реализации оппозиции «*новыхъ* / *новыхъ*» по типу 1, «*новому* / *новому*» по типу 2 и «*нового* / *новаго*» по типу 3. Здесь и далее LR-оппозиции обозначаются для удобства парами конкретных словоформ с указанием (если это необходимо) грамматических характеристик.

⁶ Тип 1а реконструируется с некоторой условностью: практически трудно указать случаи, которые можно было бы с уверенностью интерпретировать как адекватное отражение в письменности вариативности живой речи. Тип 2а, напротив, встречается достаточно часто. Примером его может служить употребление флексий Р. мн. *о-основ* *-овъ/-ъ(Ѡ)* в книжных памятниках XIII—XIV вв. Хотя флексия *-овъ* в принципе не запрещена книжной нормой, степень ее представленности в книжных текстах явно не отражает ее реальной распространенности в живой речи. Примеры типа 3а также многочисленны. См., например, полный запрет на новую флексию Д. мн. *о-основ* *-амъ* в тех же памятниках при предполагаемом варьировании в живой речи новых и старых флексий.

венность форм письменного текста и живой речи является следствием реализации LR-оппозиции по типу 1, от случаев, когда она проистекает от отсутствия самой LR-оппозиции, т. е. от отсутствия возможности выбора между двумя формами.)

Факультативная замена может осуществляться с разной интенсивностью и имеет нижним пределом своей интенсивности нулевую, а верхним — обязательную замену. Поэтому в ряде случаев бывает трудно или даже невозможно определить, имеем ли мы дело, например, с высокой интенсивностью осуществления факультативной замены или же со случайными ошибками в осуществлении обязательной. Имея в виду это обстоятельство, можно условно определить «порог случайности», полагая его равным соответственно 5 и 95%, однако необходимо отдавать себе отчет в этой условности и в случаях, когда реальное соотношение форм в тексте приближается к предельному, говорить о промежуточных типах реализации (1—2, 2—3 и т. д.)⁷.

Обращаясь теперь непосредственно к описанию принципов организации СФП, мы предполагаем, что соответствия между набором LR-оппозиций и типами их реализации в разнообразных письменных текстах носят регулярный характер, подчиняясь некоторым закономерностям, что, собственно, и позволяет говорить о системе признаков.

Характер реализации той или иной LR-оппозиции в конкретном тексте обуславливается, очевидно, тремя факторами: типом текста, спецификой индивидуальной языковой установки писца и объективными характеристиками самой оппозиции. В сложном переплетении этих трех факторов могут быть выделены случаи, когда: 1) в двух текстах разного типа, написанных одним и тем же писцом, одна и та же оппозиция реализуется по-разному; 2) в двух разных списках одного и того же текста одна и та же оппозиция реализуется по-разному; 3) в одном и том же тексте, написанном одним писцом, две разные оппозиции реализуются по-разному⁸.

В соответствии с тремя этими «чистыми» случаями может быть постулировано существование трех взаимосвязанных иерархий: 1) иерархии типов текстов, 2) иерархии индивидуальных языковых установок и 3) иерархии LR-оппозиций (или иерархии признаков). Результатом их совмещения и является СФП языка древнерусской письменности. Рассмотрим теперь по необходимости кратко каждую из трех ее составляющих.

Наиболее обстоятельно вопрос об иерархии типов славянских письменных текстов рассмотрен Н. И. Толстым [13]. Структура литературы как системы представлена им как своеобразная «пирамида» жанровых рубрик с непрерывным возрастанием нормированности письменного языка от бытовых текстов, занимающих нижний этаж этой пирамиды, до текстов конфессионально-литургических, составляющих ее вершину. Жанровые

⁷ Выделенные типы реализации бинарных LR-оппозиций могут быть использованы и при анализе трехчленных оппозиций. В таком случае целесообразно отдельно рассматривать две бинарные оппозиции, в которых в качестве одного из членов противопоставления выступает пара форм, объединенных по некоторому признаку в общей противопоставленности третьей. Например, если при предполагаемом варьировании в живой речи флексий *-и* и *-ѣ* Р. ед. *ја-основ* в письменном тексте варьируются флексии *-ѣ* и *-а*, можно говорить о реализации оппозиции *«земли(землѣ)/земля»* по типу 2 и реализации оппозиции *«земли/землѣ (земля)»* по типу 3а. При этом в первом случае актуальным оказывается противопоставление «восточнославянское/южнославянское», а во втором — «новое / старое».

⁸ Во всех трех случаях предполагается также единство времени и места создания текстов.

рубрики противопоставляются по ряду дифференциальных признаков, к числу которых относятся переводность / непереводность текста, его функциональная направленность, место и время создания.

Градуальные иерархические отношения между жанровыми рубриками, на которых концентрирует свое внимание Н. И. Толстой, могут и должны быть вписаны в определяющее структуру древнерусской языковой ситуации противопоставление церковнославянского и русского языков. В последнее время эта бинарная модель описания нередко ставится под сомнение как огрубляющая реальное положение вещей (см., например [4, с. 231; 14]). Нельзя, однако, не согласиться с А. А. Алексеевым в том, что «с лингвистической точки зрения нет возможности говорить более чем о двух языках Древней Руси — русском и церковнославянском, выделяемых в согласии с двумя путями стабилизации и двумя основными видами нормы, определявшими своеобразие структуры и сферу функций каждого из этих языков» [15]. Градуальные отношения между жанрами не составляют альтернативы бинарной оппозиции языков, но реализуются в ее пределах. Церковнославянский и русский выступают в рамках древнерусской языковой ситуации как внутренне дифференцированные и иерархически организованные функциональные единства разнообразных вариантов книжного и некнижного языков (см. подробнее [16]). Естественно поэтому говорить не о непрерывном возрастании нормированности письменного языка в единой иерархии текстов, но о параллельном существовании двух иерархий церковнославянских (книжных) и русских (некнижных) текстов, в пределах каждой из которых действуют свои механизмы нормирования, различаются более и менее строгие языковые установки, более или менее последовательная ориентация на образцовые тексты и т. д. Так, «Вопрошание Кириково» 1130—1156 гг. (древнейший список в Новгородской кормчей 1282 г.) — ярчайший образец древнерусского «смешанного» текста — выступает как церковнославянский текст с весьма свободной языковой установкой и минимальной ориентированностью на канонические образцы. Напротив, официальные договоры Новгорода с князьями представляют собой сильно нормированные русские тексты, часто дословно воспроизводящие предшествовавшие им документы. В двух параллельных иерархиях названные тексты занимают, следовательно, противоположное положение⁹. Таким образом, «гибридный церковнославянский» (по определению В. М. Живова [17]) язык новгородских «смешанных» текстов и «стандартный древнерусский» (по определению А. А. Зализняка [12]) новгородских пергаменных грамот могут рассмат-

⁹ Именно этим, очевидно, следует объяснять то обстоятельство, что оригинальные книжные памятники могут в ряде случаев лучше отражать инновации живой речи и диалектизмы, чем деловые тексты. В частности, в «Вопрошании Кирикове» находим последовательное употребление новой флексии Р. ед. *ja*-основ *-и* (*опитѣми, коутѣи* и т. д.), притом что в пергаменных грамотах того же периода безраздельно господствует старая флексия *-ѣ*. В том же памятнике отмечаем также двукратное, в пределах одной фразы (причем в окружении маркированно книжных форм) употребление столь яркого морфологического новгородизма, как флексия *-е* в И. ед. муж., также полностью изгнанная из деловой письменности Новгорода: *прашаѣть кѣо: гдѣ ѣсть крѣтъ чѣнны?* — *такѣ поведѣють, рѣѣ, намѣ: ѣко не ѣ ошлѣ ѣсѣраграѣ, кѣда о б р ѣ т е н е, ѣзанесѣсьѣ на нѣѣа* (ГИМ, Син. № 132, л. 523). Примеры такого рода соотношений вступают в явное противоречие с традиционным представлением о промежуточном положении, занимаемом «смешанными» текстами в системе древнерусских письменных жанров между текстами каноническими и деловыми.

риваться как симметричные в рамках древнерусской языковой ситуации явления.

Эта симметрия, однако, является неполной вследствие того, что иерархия книжных памятников характеризуется значительно большей амплитудой языковых и стилистических колебаний, чем иерархия некнижных текстов. Большая внутренняя однородность свойственна языковой системе канонических церковнославянских текстов, которую и следует непосредственно сопоставлять с языком некнижной письменности в целом. Язык оригинальных книжных памятников, прежде всего «гибридных» с их исключительно своеобразным механизмом порождения [17, с. 74], целесообразно рассматривать на фоне этого основополагающего противопоставления двух подсистем, выделяемых в составе СФП языка древнерусской письменности. Если СФП некнижной письменности задает тот уровень, от которого отталкиваются авторы оригинальных книжных текстов, то СФП канонических памятников — тот уровень, на который они в той или иной степени ориентируются.

Иерархия индивидуальных языковых установок неотделима от иерархии типов текстов. Обе они в целом могут быть противопоставлены иерархии признаков. Поскольку непосредственным объектом наблюдения всегда является языковая система конкретной рукописи или документа, неизбежно возникает вопрос: в какой мере реализация в них тех или иных оппозиций предопределена типом переписываемого текста, а в какой — индивидуальными языковыми предпочтениями переписчика. По понятным причинам наименьшую зависимость от типа текста (по крайней мере в пределах иерархии книжных памятников) обнаруживает орфографический уровень, а наибольшую — лексический и синтаксический. Что касается морфологии, то здесь приходится постоянно учитывать действие обоих факторов. Рассмотрим в этом отношении следующий пример.

В первом почерке Захарьинского паремейника 1271 г. реализуются по типу 3 оппозиции «*хваливъ/хваль*» (новые и архаические формы действительных причастий прошедшего времени) и «*новыѣхъ/новыиѣхъ*». Сопоставление с другими почерками той же рукописи обнаруживает, что замена стяженных форм нестяженными является обязательной лишь для первого почерка, тогда как во втором и третьем она осуществляется факультативно (тип 2). Между тем употребление почти исключительно архаических причастных форм свойственно не только всем трем почеркам данной рукописи, но также и другим спискам Паремейника (ЦГАДА, ф. 381, №№ 50, 60, оба XIII в.), тогда как, например, в списках Евангелия и Пролога имеет место свободное варьирование новых и архаических форм. Таким образом, реализация по типу 3 двух разных оппозиций в первом почерке Захарьинского паремейника в одном случае связана с архаичностью языковой установки писца — поца Захарии (который, кстати, является отцом второго писца — Олуферия, что весьма показательно), а в другом — отражает, очевидно, архаичность самого перевода.

Существование помимо иерархии типов текстов и иерархии индивидуальных языковых установок также самостоятельной иерархии LR-оппозиций (или иерархии признаков) сказывается в том, что формы, в равной степени свойственные живой диалектной речи, оказываются по-разному представлены в одних и тех же текстах. В принципе любой древнерусский письменный текст может рассматриваться как воплощение иерархически организованного языкового сознания, в котором разнообразные LR-оппозиции обладают различным функциональным статусом, своего рода «коэффициентом преломления», определяющим возможность

и целесообразность употребления в текстах тех или иных форм. Следует предполагать, что этот «коэффициент преломления» обусловлен в общих чертах некоторыми объективными характеристиками самих оппозиций и что, следовательно, помимо индивидуальных иерархий LR-оппозиций, воплощенных в конкретных текстах, должна существовать и их общая иерархия. В связи с этим предстоит выяснить ряд вопросов. Во-первых, как соотносятся индивидуальные и общая иерархии оппозиций? Во-вторых, как соотносится иерархия оппозиций с иерархией типов текстов? И в-третьих, какие факторы определяют положение отдельных оппозиций и групп оппозиций в иерархии?

Ниже приводятся данные о реализации четырех LR-оппозиций в четырех канонических текстах XI—XII вв.: Остромировом евангелии 1055—1056 гг. (ОЕ), Архангельском евангелии 1092 г. (АЕ), Изборнике 1076 г. (И 76) и Выголексинском сборнике XII в. (Выг.):¹⁰

	ОЕ	АЕ	И 76	Выг.
«новому/новуму» (Д. ед. муж.-ср.)	3	2	2	1
«тобѣ/тебѣ» (Д.-М.)	3	2	3	2
«землѣ/земля» (Р. ед., И.-В. мн.)	3	3	2	2
ја-основ, В. мн. јо-основ				
«новыѣ/новыя» (те же формы адъективного склонения)	3	3	3	3

Как можно заметить, в каждом из четырех текстов имеет место особая картина реализации. В ОЕ все четыре оппозиции реализованы по типу 3-их L-формы в тексте или вообще не представлены или представлены как единичные отклонения от нормы (например, *каплѣ* л. 160). В АЕ и И 76 намечаются контуры общих иерархических отношений, нейтрализованных чрезвычайной строгостью нормы ОЕ. В этой общей иерархии наиболее высокое положение¹¹ занимает, очевидно, оппозиция «новому/новуму», в обоих текстах реализованная по типу 2, а наиболее низкое — оппозиция «новыѣ/новыя» (в обоих текстах — тип 3, как и в ОЕ). Оппозиции «землѣ/земля» и «тобѣ/тебѣ» занимают промежуточное положение, причем положение их относительно друг друга в двух текстах оказывается различным и потому не является фактом общей иерархии.

Как видим, разнообразие индивидуальных картин формоупотребления не исключает возможности их систематизации и выявления общих иерархических отношений между оппозициями. Взаимодействие этой общей иерархии признаков с иерархией типов текстов заключается прежде всего в том, что одни и те же иерархические отношения между LR-оппозициями в текстах разных типов могут проявляться в разной форме. Так, как мы уже имели возможность убедиться, оппозиция «землѣ/земля» в иерархии признаков занимает более высокое положение, чем оппозиция «новыѣ/новыя». В пределах переводной канонической книжности это различие, впервые отмеченное В. Д. Левиным [18], может проявляться в реализации оппозиции «землѣ/земля» по типу 2, а оппозиции «новыѣ/новыя» по типу 3, как это имеет место в И 76, Выг. и многих других памятниках. В оригинальных русских книжных текстах обе оппозиции могут реализоваться по типу 2, и тогда иерархические отношения между ними проявляются уже в интенсивности осуществления факультативной замены. Так, в читающемся в составе Успенского сборника XII в. древнейшем списке Сказания о Борисе и Глебе субстантивные формы на -л

¹⁰ Принципы и календарные заголовки во внимание не принимаются.

¹¹ Условимся считать, что чем более ассимилирована книжной нормой L-форма, тем более высокое положение в иерархии занимает соответствующая оппозиция, и наоборот.

составляют 54%, тогда как аналогичные формы адъективного склонения 77%. В упоминавшемся уже «Вопрошании Кирикове» соотношение еще более выразительное — формы существительных на -а составляют здесь всего 7%, а адъективные формы — 66%. Те же иерархические отношения, но уже снова в другой форме, могут спорадически проявляться и в деловой письменности, где встречаются единичные примеры адъективных форм на -а (см., например, *новгородьския, ея* в новгородских пергаменных грамотах XIV в. [19, №№ 6, 7, 46]), при полном отсутствии соответствующих форм у существительных.

Необходимо отметить, что тексты, в которых бы имело место обратное соотношение между двумя рассмотренными оппозициями, кажется, отсутствуют, по крайней мере, нам они не известны. Это обстоятельство позволяет применительно к текстам, в которых обе оппозиции реализуются одинаково, говорить о нейтрализации иерархических отношений. Поскольку число возможных типов реализации весьма ограничено, в каждом конкретном тексте может проявиться лишь часть иерархических отношений между оппозициями, тогда как другая часть оказывается нейтрализованной. Иерархические отношения могут нейтрализоваться в любом из трех типов реализации. Так, отношение между оппозициями «земль/земля» и «новыѣ/новыя» в ОЕ и АЕ нейтрализуется вследствие реализации обеих по типу 3, тогда как в подавляющем большинстве грамот, вообще не знающих форм на -а ни в субстантивном, ни в адъективном склонении, то же отношение нейтрализуется по 1-му типу. Заметим, кстати, что точное отражение диалектной речи в бытовых берестяных грамотах может рассматриваться как проявление полной нейтрализации по 1-му типу всей совокупности иерархических отношений между оппозициями в СФП.

Взаимодействие иерархии текстов и иерархии признаков состоит не только в том, что в разных типах текстов одни и те же иерархические отношения могут проявляться по-разному, но и в том, что разные типы текстов несут информацию о разных участках иерархии LR-оппозиций.

В приведенной выше таблице обращает на себя внимание противопоставленность оппозиции «новыѣ/новыя», во всех четырех текстах реализуемой по типу 3, остальным трем оппозициям, для которых возможны разные типы реализации. Это противопоставление отражает важнейшую особенность структуры СФП канонических текстов (и соответственно — церковнославянской языковой нормы), в которой на каждом синхронном срезе может быть выделен инвариант, т. е. совокупность LR-оппозиций, во всех текстах представленных нормативно лишь своими «правыми» формами, и зона вариативности, в пределах которой возможно нормативное употребление как «правых», так и «левых» форм.

В зоне вариативности СФП канонической церковнославянской книжности можно выделить несколько более частных разрядов оппозиций, исходя из того, какие типы реализации характерны для них в текстах одной региональной и хронологической принадлежности. Так, в новгородской книжности второй половины XIII в. оппозиции («слову/словеси» (формы косвенных падежей ед. числа) и «церкви/церкве» (Р. ед.) реализуются, как правило, по типу 2. Таким образом, вариативность по данному признаку выступает как свойство церковнославянской нормы в целом. Между тем оппозиция «земли(земль)/земля» в тех же текстах реализуется по типу 3 или по типу 2, но не по типу 1. Напротив, для оппозиции «церкви/церкве» (М. ед.) нехарактерным является тип 3. Данная оппозиция в текстах этого периода обычно реализуется по типу 1, и в

части текстов (например, в первых двух почерках Захарьинского паремейника 1271 г.) по типу 2. Для оппозиции *«тобѣ/тебѣ»* возможны все три типа реализации.

Распределение оппозиций по разрядам в пределах зоны вариативности, как и соотношение между зоной вариативности и инвариантом, изменяется в процессе эволюции книжной нормы. Оппозиции переходят из разряда в разряд, в результате чего любое синхронное состояние нормы характеризуется объединениями в рамках одного разряда оппозиций с различной предшествующей и последующей судьбой. В частности, широкая вариативность в оппозиции *«слову/словеси»* наблюдается с начала письменной эпохи, а в оппозиции *«церкви/церкве»* (Р. ед.) складывается постепенно в XII—XIII вв. Однако на синхронном срезе второй половины XIII в. обе оппозиции относятся к одному разряду.

Иерархические отношения между оппозициями, образующими инвариант СФП канонических текстов, полностью нейтрализованы в текстах этого типа, проявляясь изредка лишь в сравнительной частотности ошибок (см. ниже примеч. 12). Между тем обращение к текстам не книжным позволяет и здесь обнаружить значительное разнообразие. Наиболее ярко проявляется различие между оппозициями, в которых в качестве L-форм выступают общерусские и диалектные образования. В «стандартном древнерусском» языке новгородской деловой письменности первые регулярно представлены своими L-формами (оппозиции *«новѣѣ/новѣѣѣ»*, *«ѣ(зѣ)/азѣ»*, *«идуше/идуше»*, «эловая» форма прошедшего времени / аорист, имперфект и др.). Между тем специфические новгородские диалектизмы в тех же текстах более или менее последовательно заменяются на их «правые» общерусские соответствия.

Очевидно, однако, что и те оппозиции, в которых участвовали диалектные формы и которые, согласно А. А. Зализняку, определяли собой дистанцию между древненовгородским диалектом и «стандартным древнерусским», не были монолитны в функциональном отношении, но также иерархически соотносились друг с другом. Например, из оппозиций *«товаре/товарѣ»* (И. ед.) и *«водѣ/воды»* (Р. ед.) последняя, безусловно, занимала в иерархии признаков более высокое положение. Об этом свидетельствует наличие текстов, в которых при последовательном употреблении флексии *-ѣ* в И. ед. муж. употребляется флексия *-ѣ* в Р. ед. жен. Таковы, в частности, пергаменные грамоты 1304—1305 гг., 1326—1327 гг., духовная Климента до 1270 г. [19, №№ 8, 14, 15, 105], берестяная грамота № 531 рубежа XII/XIII вв. и некот. др.¹² Тексты с обратным соотношением нам не известны.

В наиболее строго нормированных деловых текстах, где все морфологические диалектизмы последовательно устраняются, такого рода иерархические отношения нейтрализуются. Таким образом, соотношение между договором Новгорода с немцами 1263 г. и, например, завещанием Климента до 1270 г. выступает как аналогичное соотношению между Остроми-

¹² Примеры из берестяных грамот приводит А. А. Зализняк [11, с. 132], интерпретируя их как свидетельство сосуществования в живой речи названных флексий. Однако наличие даже в бытовых берестяных грамотах явных признаков нормированности языка (см., например, исправление формы императива *молове* на *молочи* в грамоте № 531) допускает и возможность «иерархической» интерпретации. В ее пользу косвенным образом свидетельствует и частотность ошибок в книжных памятниках XI—XII вв., т. е. периода безусловного господства в древненовгородском диалекте флексии *-ѣ* в И. ед. муж. При том, что данная форма в этих текстах отмечена лишь однажды [11, с. 133], флексия *-ѣ* в Р. ед. *а*-основ (твердых) представлена рядом примеров [20].

ровым евангелием и Изборником 1076 г. В обоих случаях перархические отношения между оппозициями, нейтрализованные в тексте с более строгой языковой установкой, проявляются в тексте с менее строгой нормой. Существенно, что при этом мы имеем дело не с более и менее удачным следованием единой общепринятой норме, каковой в рассматриваемую эпоху, по-видимому, вообще не существовало (см. выше), но с индивидуальными представлениями о правильности письменного языка, различающимися по степени строгости.

Подобно СФП канонических церковнославянских текстов СФП некнижной письменности также характеризуется своей зоной вариативности и своим инвариантом, т. е. набором оппозиций, во всех бытовых и деловых текстах представленных только L-формой. Обнаружив в некнижных памятниках проявление иерархических отношений между морфологическими новгородизмами, мы не узнаем из них ничего о соотношении в иерархии признаков таких оппозиций, как, например, «*хваливь/хваль*» и «*новому/новуму*». Соответствующие замены в текстах данного типа вообще не производятся. Таким образом, иерархические отношения между оппозициями, нейтрализованные в инварианте СФП канонических текстов, проявляются в зоне вариативности СФП некнижных текстов, и наоборот, отношения, нейтрализованные в инварианте СФП некнижных текстов, проявляются в зоне вариативности СФП канонической церковнославянской книжности.

Крайне характерно, однако, что зоны вариативности СФП канонических церковнославянских и некнижных русских текстов не находились полностью в отношениях дополнительной дистрибуции, но частично пересекались. В новгородской письменности XIII—XIV вв. эту область пересечения составляли такие оппозиции, как «*люди/людие*» (И. мн. i-основ), «*видишь/видиши*» (2 л. презенса), «*неся/неса*», «*есме/есмы*» (1 л. мн.), «*земли/земль (земля)*» (Р. ед., И.-В. мн.) и некот. др. L-формы этих оппозиций могут быть нормативно представлены в канонических памятниках и в то же время подлежат замене на R-формы при написании деловых документов¹³.

Показательно, что при наличии довольно обширной области пересечения зон вариативности СФП канонических и некнижных памятников затруднительно назвать оппозиции, составляющие область пересечения их инвариантов. К этому статусу близки оппозиция причастных суффиксов -*уч*, -*яч*/-*уц*, -*яц*, оппозиции «*новыѣ/новыѧ*» и «*ѧ(зѣ)/азѣ*». Их L-формы, кажется, полностью выведены за пределы канонической церковнославянской нормы этого периода, тогда как R-формы представлены в некнижных текстах как исключения или употребляются в клишированных формульных сочетаниях типа *се азѣ*, *въ сѣ вѣкъ* и *въ боудущи*. Следует заметить, что реализация этих оппозиций по типу 2 составляет специфическую особенность оригинальных «гибридных» текстов, таких, как Новгородская летопись (Синодальный список XIII—XIV вв.) и «Вопрошание Кириково».

¹³ Ср., например, нормативное употребление форм *жива*, *зова* в ноябрьской Минее XIII в. (ЦГАДА, ф. 381, № 93, лл. 72об, 86об, 99об) и двукратное *жива* в пергаменной грамоте 1304—1305 гг. [19, №№ 7, 8]. Ср. также последовательное употребление диалектной формы *есме* в целом ряде новгородских рукописей XIII—XIV вв. (Лобковский пролог 1262 г., Прологи ЦГАДА, ф. 381, № 156, ГПБ, Соф. 1324, Паремейник ЦГАДА ф. 381, № 60 и др.) и замену ее формой *есмы* в грамоте 1263 г. [19, № 29].

Осталось вкратце рассмотреть вопрос о факторах, определяющих положение оппозиции в иерархии. Таких факторов можно ориентировочно выделить три: хронологический, ареальный и парадигматический. Первые два из них в особых комментариях не нуждаются. Понятно, что чем более древней является L-форма и чем более значителен (как в территориальном, так и в престижном отношении) ареал ее распространения, тем более высокое положение в иерархии занимает соответствующая оппозиция. По этой причине оппозиции типа «восточнославянское/южнославянское» в иерархии признаков располагаются в целом существенно выше оппозиций типа «диалектное/общерусское». Вполне естественно также, что положение в иерархии различных оппозиций «новых» и «старых» форм непосредственно зависит от того, в какую эпоху — дописьменную, древнейшую письменную или уже в сравнительно позднее время — протекал в живой речи соответствующий морфологический процесс¹⁴.

Фактор, названный парадигматическим, регулирует прежде всего иерархические отношения между оппозициями, совпадающими или близкими по своим ареальным и хронологическим характеристикам. Ярким примером его действия может служить уже рассмотренное выше соотношение оппозиций «земль/земля» и «новыѣ/новыя», обусловленное, по-видимому, различным устройством соответствующих словоизменительных парадигм. Как уже отмечал Н. Н. Дурново [5, с. 81], введение в систему книжного языка восточнославянских форм на -ѣ могло быть следствием стремления избавиться от возникшей на древнерусской почве омонимии книжных форм И. ед. и Р. ед., И.-В. мн. *ja*-основ. В адъективном склонении, однако, этой омонимии не возникало, что, скорее всего, и определило более низкое положение оппозиции адъективных форм в иерархии признаков.

Сходным образом может быть объяснено и исключительное положение в иерархии признаков такого морфологического новгородизма, как форма 1 л. мн. *есме*, в отличие от остальных диалектных морфологических форм, нормативно употребляемая в канонической церковнославянской книжности. Это обстоятельство может быть связано с тем, что в условиях возникшей вследствие отверждения конечного /м'/ омонимии книжных форм 1 л. ед и мн. числа диалектная форма стала отвечать потребностям книжной языковой системы, стремившейся освободиться от этой омонимии.

В рассмотренных случаях парадигматический фактор обуславливает потребности самой письменно-языковой системы, по тем или иным причинам стремящейся к ассимиляции определенных форм живой речи. В других случаях организация словоизменительной парадигмы может определять степень сложности морфологического пересчета от форм живой речи к формам письменного языка, выступающего как один из основных механизмов порождения письменных текстов [22]. По-видимому, именно это обстоятельство обусловило отмеченное выше различное положение в иерархии признаков оппозиций «товаре/товарѣ» (И. ед. муж.) и «водѣ/воды»

¹⁴ Наличие этой зависимости в ряде случаев позволяет рассматривать иерархические отношения между однородными по происхождению оппозициями в относительно поздних текстах как своеобразную проекцию в план синхронии относительной хронологии раннего морфологического процесса. Так, существенно большая ассимилированность книжной нормой XIII—XIV в. флексии *-ому* Д. ед. муж.-ср. членных прилагательных по сравнению с флексией Р. ед. муж.-ср. *-ого* отражает, по-видимому, то обстоятельство, что в древнейшую письменную эпоху процесс образования новых форм членных прилагательных по образцу форм местоимений, распространившись на дательный падеж, еще не затронул родительного [21].

(Р. ед. жен.). Диалектная форма Р. ед. на *-ѣ* совпадала с нормативными формами Д.-М. ед., что повышало ее шансы на проникновение в письменность. Между тем флексия *-е* в И. ед. муж. представляла собой изолированное явление в парадигме и потому могла быть с легкостью выведена за пределы письменной нормы.

Приведенные выше примеры носят элементарный характер. Практически, однако, приходится чаще наблюдать сложное соотношение различных факторов, в котором ареальные, хронологические и парадигматические характеристики оппозиций могут вступать в противоречие друг с другом. Именно такого рода противоречия обуславливают, по-видимому, разнообразие индивидуальных картин формоупотребления и расхождения между индивидуальными иерархиями признаков. Характерно, что эти расхождения могут иметь место и на более высоком уровне. Так, положение относительно друг друга оппозиций *«новыѣ/новыя»* и *«земли/земль (земля)»* оказывается противоположным в СФП канонических церковнославянских и некнижных русских текстов. В СФП канонических памятников XIII—XIV вв. исконная для всей восточнославянской территории оппозиция *«новыѣ/новыя»* относится к инварианту, тогда как оппозиция *«земли/земль (земля)»*, несмотря на свой меньший «возраст», входит в зону вариативности. (Нормативное употребление форм на *-и* находим, например, в третьем почерке Захарьинского паремейника 1271 г.) Причина, возможно, заключается в совпадении новой флексии *-и* Р. ед. с нормативной флексией Д.-М. ед. Парадигматический фактор, таким образом, оказывается более значимым, чем хронологический. Иначе обстоит дело в некнижной письменности, поскольку южнославянские по своему происхождению формы на *-а* практически не употребляются в текстах этого типа. Напротив, устранение инноваций, в том числе и флексии *-и* Р. ед. *ја-основ*, в грамотах данного периода производится достаточно последовательно. Ареальный и хронологический факторы играют здесь, следовательно, доминирующую роль.

Итак, система формальных признаков языка древнерусской письменности предстает на каждом синхронном срезе как результат сложного взаимодействия трех частных систем: иерархии (вернее, иерархий) типов текстов, иерархии индивидуальных языковых установок и иерархии самих признаков, понимаемых как бинарные оппозиции «левых» и «правых» форм. Следующее сравнение, как представляется, наглядно иллюстрирует общий принцип функционирования СФП.

В плане отражения формальных особенностей живой речи любой древнерусский письменный текст может рассматриваться как своеобразный экран, на который направлен световой поток, складывающийся из множества лучей разной интенсивности (иерархия признаков). Лучи падают на экран, проходя через фильтр, пропускная способность которого определяется как химическим составом стекла (иерархия типов текстов), так и его толщиной (иерархия индивидуальных языковых установок). Картина на экране обуславливается взаимодействием всех названных факторов. При этом постановка особо плотного фильтра, вообще не пропускающего лучи малой интенсивности, не позволяет составить представление о сравнительной интенсивности этих лучей, зато позволяет дифференцировать лучи большей интенсивности. При постановке слабого фильтра имеет место обратное соотношение. Поэтому, чтобы составить полное представление о сравнительной интенсивности всех лучей, необходимо провести эксперимент, последовательно сменяя фильтры разной плотности. Неко-

торые теоретические основания аналогичного лингвистического эксперимента были рассмотрены в настоящей статье. Полное его осуществление представляется одной из актуальных задач истории русского литературного языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Владимирова Л. А.* О некоторых языковых особенностях в Изборнике Святослава 1073 г. // Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. М., 1987. С. 65.
2. *Русанівський В. М.* Джерела розвитку східнослов'янських літературних мов. Київ, 1985. С. 24.
3. *Якубинский Л. П.* История древнерусского языка. М., 1953. С. 103.
4. *Worth D. S.* Toward a social history of Russian // Medieval Russian culture / Ed. by Birnbaum H., Flier M. Berkeley; Los Angeles; London, 1984.
5. *Дурново Н. Н.* Славянское правописание X—XII вв. // Slavia. 1933. Роѣ. XII.
6. *Живов В. М.* Проблемы формирования русской редакции церковнославянского языка на начальном этапе // ВЯ. 1987. № 1.
7. *Успенский Б. А.* История русского литературного языка XI—XVII вв. München, 1987.
8. *Едличка А.* Типы норм языковой коммуникации // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XX. М., 1988. С. 84.
9. *Hüttl-Folter G.* Die TRAT — TOROT Lexeme in den Altrussischen Chroniken: Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Russischen Literatursprache. Wien, 1983. S. 16, 42—43.
10. *Соболевский А. И.* История русского литературного языка. Л., 1980. С. 38.
11. *Зализняк А. А.* Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1977—1983 гг.) М., 1986.
12. *Зализняк А. А.* О языковой ситуации в Древнем Новгороде // Russian linguistics. 1987. V. 11. № 2—3. S. 115—132.
13. *Толстой Н. И.* Однос старог српског књишког езика према старом словенском езику (У вези са развојем жанрова у старој српској књижевности) // Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд; Трипљ. 1978. С. 24.
14. *Shevelov G.* Несколько замечаний о грамоте 1130 г. и несколько суждений о языковой ситуации Киевской Руси // Russian linguistics. 1987. V. 11. № 2—3. S. 178.
15. *Алексеев А. А.* Пути стабилизации языковой нормы в России в XI—XVI вв. // ВЯ. 1987. № 2. С. 44.
16. *Гиппиус А. А., Страхов А. Б., Страхова О. Б.* Теория церковнославянско-русской диглоссии и ее критики // Вестник МГУ. Сер. 9 Филология. 1988. № 5. С. 45—49.
17. *Живов В. М.* Язык Феофана Прокоповича и роль гибридных вариантов церковнославянского в истории славянских литературных языков // Советское славяноведение. 1985. № 3.
18. *Левин В. Д.* К характеристике русского извода старославянского языка // Wiener slawistischer Jahrbuch. 1984. Bd. XIII. S. 178.
19. Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949.
20. *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. 4-е изд. СПб., 1907. С. 183, 202.
21. *Толкачев А. И.* Об образовании некоторых форм прилагательных в славянских языках // Славянское языкознание. М., 1959. С. 80.
22. *Живов В. М.* // ВЯ. 1988. № 4. С. 149. Рец. на кн.: Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1977—1983 гг.). М., 1986.